

18+

Д. С. ГАСТИНГ

**#свободаестьсвобода**



# Д. С. Гастинг

## #свободаестьсвобода

*[http://www.litres.ru/pages/biblio\\_book/?art=68905662](http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=68905662)*

*ISBN 9785005965691*

### **Аннотация**

Участники неформальной анархической организации «Чёрная гвардия» пытаются зарегистрировать её в качестве партии, но получают отказ. Один из неформальных лидеров организации, Виталий Лопатко, убеждает остальных устроить громкую протестную акцию в департаменте Министерства юстиции. Незадолго до акции Лопатко арестовывают. Находясь в СИЗО, он пытается понять, кто из его ближайших соратников мог его сдать...

# Содержание

1. Виталий Лопатко, после	5
2. Александр Балканов, до.	13
3. Виталий Лопатко, после	19
4. Эмма Гриневич, до.	26
5. Виталий Лопатко, после	34
6. Александр Балканов, до.	43
7. Виталий Лопатко, после	48
Конец ознакомительного фрагмента.	56

# #свободаестьсвобода

## Д. С. Гастинг

*Посвящается С. Ш.*

*Я думал мы о чём молчим*

*А мы молчали*

*Вот о чём.*

*Всеволод Некрасов*

*Будут значительны их слова,*

*будут возвышены и добры.*

*Они докажут, как дважды два,  
что нельзя выходить из этой игры.*

*Владимир Лившиц*

*Автор обложки Дарья Юрьевна Шустова*

© Д. С. Гастинг, 2024

ISBN 978-5-0059-6569-1

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

# 1. Виталий Лопатко, после

Раз-раз – провожу вспухшим языком по разбитой губе. Кислый, вязкий, липкий вкус. На губах – как прелая морковь. Если мне кого и жалко было из всей русской литературы с её культом страданий, то только животных у Есенина. А больше – никого.

За это меня и любят ученики. Вчера Облепихина так и сказала: Виталий Петрович, вы такой циничный! И смотрит восхищённо, хлоп-хлоп глазами. Не хватало ещё только, чтобы влюбилась. Хотя, с другой стороны, шестнадцать лет – самый лучший возраст, чтобы влюбляться во всяких полудурков.

Из Облепихиной определённо выйдет толк. Почему, спрашивает, Соня – совесть Раскольниковова? Потому что, говорю я ей, не надо мыслить советскими штампами, вот почему. А она опять смотрит, хлоп-хлоп глазами, и говорит: а не потому ли, что Соня – проститутка?

Хочется верить, что ради таких, как Облепихина, я и работаю в школе. Хотя, разумеется, не поэтому, а потому что где мне ещё и работать. Из школы меня, конечно, уволят. И где мне работать тогда? Варезки шить. В лучшем случае.

В ушах звенит. Мутит, тошнит, знобит, трясёт. Безличные глаголы, шестой класс. Интересно, кем меня заменят. Хотя, разумеется, интересно не это.

В камере так тихо, что слышно, как где-то по капле из крана вытекает вода. На серой стене гвоздём нацарапана женская фигура с прекрасно прорисованными, на радость какому-нибудь новому Лимонову, первичными и вторичными половыми признаками, но без лица – то ли художник не успел дорисовать, то ли так и было задумано. Хочется верить, что первое. Хочется ли?

Есенинской лисице повезло, понимаю я теперь. Она, по крайней мере, на раздробленной ноге приковыляла умирать у родной норы. Вот что я не успел рассказать шести-классникам, а теперь вряд ли кто-то расскажет. Последнее право – право умереть по-человечески.

Не по-человечески, впрочем, уже то, что после семнадцати попыток дозвониться до Балканыча, который упорно не брал трубку, я зачем-то пошёл и нажрался, чего делать явно не стоило. Разумеется, я не хотел до такой степени нажираться. Просто, видимо, организм за столько времени отвык от алкоголя.

Дальше помню смутные, размазанные кадры, будто ребёнок дрожащей ручонкой хаотично нажимает на фотоаппарат. Вот ступени, вот площадка, вот снова ступени, вот Мара открывает мне дверь, стоит в проёме в этом своём розовом халатике. Кисточка на поясе, округлость бедра. Вот я притягиваю её к себе, пьяно выдыхаю в лицо какие-то нежности. Вот халатик слетает на пол, вот она вырывается и, скрестив руки на свежесделанной груди, кричит сквозь марево: зая,

ты что, пьяный? Её голос – чужой, далёкий, как будто я под водой, а она на берегу.

Да, бормочу я в ответ, насколько получается выговорить, и впиваюсь пальцами в ручку двери, будто это придаст мне сил. Зая пьяный. Зая хочет бухать. Зая хочет курить. Зая не будет больше экономить каждую копейку, чтобы купить тебе новый айфон. Потому что заю уже зае...

Вот она убегает в ванную, с силой хлопает дверью так, что с потолка сыплется штукатурка. Вот из-за двери доносятся фальшивые рыдания на одной ноте – так рыдают капризные дети, начисто лишённые актёрских способностей.

Вот я, шатаясь, выхожу в ночь, силясь не упасть, держась за одну-единственную мысль: надо купить цветов и извиниться. Вот я дохожу до ближайшей Пятёрочки и почему-то вместо цветов покупаю блок сигарет. Вот я стою у этой Пятёрочки и выкуриваю целую пачку, одна за одной, одна за одной, будто и не было трёх месяцев, которыми я так гордился. Не чувствую ни облегчения, ни наслаждения, ничего, кроме усталости, привычной, застарелой, бесконечной усталости.

Вот ко мне подходят двое в униформе. Один – тощий, вертлявый, восточной наружности. Другой – толстомордый, рыжий, добродушный. Странно, но внешность второго сначала не внушает мне опасений. Кто бы мог подумать, что губу мне разобьёт именно он.

Я хочу сказать им, что запрет на курение в общественном месте распространяется только на помещения, предоставля-

ющие услуги торговли, а поскольку я нахожусь не внутри помещения, а снаружи, то этот запрет ко мне неприменим, но, может быть, я что-то спутал, в любом случае сказать не могу ни слова – язык как будто разбух, пропитавшись табачным дымом, стал серым неповоротливым китом, которому тесно в пересохшем пруду моего рта, и всё-таки он отчаянно не хочет на берег.

– Лопатко Виталий Петрович, – толстомордый не спрашивает, а утверждает. Вертлявый достаёт откуда-то сложенную бумажку, смотрит в неё, переводит взгляд на толстомордого и обратно, услужливо кивает. – Пройдёмте в отделение.

У меня сжимается сердце, я судорожно вспоминаю, что штраф за курение составляет от пятисот рублей до трёх тысяч, лезу в карман, и смятые купюры разлетаются по тротуару; я начинаю собирать их и думаю, что отдам, даже если не виноват, потому что я не могу в отделение, потому что я должен...

А это точно он, спрашивает вертлявый. Ну ты дурак, что ли, добродушно отвечает толстомордый. Сказано же, Лопатко, Виталий Петрович.

Не может же вот это чмо, читаю я в глазах у вертлявого, спланировать протестную акцию в Минюсте. Толстомордый ухмыляется и фыркает. Ну вот мы сейчас и выясним, кто за ним стоит, как бы молча отвечает он, и что это за чёрная, мать её, гвардия.

Резкий шквал ветра сносит в сторону белую купюру. Я тя-

нусь за ней и вытягиваюсь на асфальте. Бег или бой. Бежать я не в состоянии. Только ползти. Тонкой прошвой кровь отмежевала на снегу дремучее лицо.

Вертлявый поднимает меня с земли, встряхивает. Бег или бой. Биться я тоже не в состоянии. Мягко, как ватная кукла, толкаюсь спиной во впалый живот вертлявого. Он вновь встряхивает меня. На помощь приходит толстомордый и отточенным движением бьёт в челюсть. Размазанные кадры сливаются в одно сплошное пятно, цветное и склизкое, как забытые на солнце мармеладные мишки. Мокрый вечер липок был и ал.

*Кто за мной стоит?*

До сегодняшнего дня я относительно чётко знал ответ на этот вопрос. Примерно две трети участников анархической партии «Чёрная Гвардия», так и не зарегистрированной, нужны для количества; половину из остальных можно охарактеризовать как несильно идеологизированную молодёжь, которая мало что смыслит, зато тащится от атмосферы. Они много визжат на собраниях и ещё больше пьют после них, но ничего более ответственного я не стал бы им поручать.

*Кто за мной стоит?*

Человек тридцать – относительно серьёзные взрослые люди, которые видят в партии нечто наподобие дискуссионного клуба. Они готовы с умным видом рассуждать, в чём неправ Кропоткин или можно ли считать анархистом Чомски, хотя

временами и предпочитают спорить, Чомски он или Хомски, или вообще Хомский. Всё это довольно забавно, но на вопросы о методологии прямого действия они предпочитают не отвечать.

*Кто за мной стоит?*

Человек десять из них составляют костяк партии. Можно даже сказать, что я им доверяю, но нельзя сказать, что безоговорочно.

*Кто за мной стоит?*

Я закрываю глаза, и в липком мареве встают три лица. Только эти три человека знают обо мне всё. В том числе и то, что я намеревался провести акцию в Минюсте и потребовать всё-таки зарегистрировать «Чёрную гвардию».

Только эти три человека были мне по-настоящему дороги.

Только эти три человека могли меня сдать.

Тёмные, безупречно постриженные в элитном мужском салоне волосы, густые, всегда нахмуренные брови. Широко посаженные глаза, высокий лоб, слишком мягкий рот. Широкие плечи, мощная грудь. Исключительно брендовые пиджаки. Человек десять наших девчонок влюблены в него до безумия. Мускулистая спина, бычья шея. Взгляд тоже бычий – я не знаю, но мне кажется, именно так смотрят животные на скотобойне. Балканыч, братаныч, неужели ты? Только бы не ты!

*Хватит.*

Ну конееечно, отвечает мне знакомый голос. Такие вопи-

юще некрасивые и такие до боли родные черты. Ну конечно, ты хочешь сказать, это я? – спрашивает она и проводит широкими пальцами с коротко остриженными ногтями по почти лысой голове. Я на миг открываю глаза и вновь закрываю, и обесцвеченный ёжик её волос становится грязно-серой массой – какой я их помню – а узкое лицо вытягивается в длинную крысиную морду. Ты закончила юрфак с красным дипломом, Гриневич, эти пальцы могли напечатать безупречный донос?

*Хватит.*

Рядом с бычьей мордой Балканова появляется ещё одна, коровья. Из-под рыжих ресниц смотрят, не мигая, совершенно круглые глаза, один жёлтый, другой синий, мне постоянно хотелось срифмовать «слава Украине», но я сдержался, зато однажды по пьяни ляпнул гадость насчёт коровьего вымени – Сентябрёва, сказал я ей, ну какая из тебя санитарка? С твоим бюстом только медсестричек играть в фильмах определённого жанра, ляпнул я и тут же похолодел, думая, что она смертельно обидится, а она... она просто не поняла. Сентябрёва, сестричка, разве ты не видишь, как мне плохо? Пожалуйста, пожалуйста, спаси меня, скажи мне, что это сделала не ты!

*Хватит.*

Я не смогу ответить на вопрос, кто за мной стоит.

Не смогу ответить, кто ударил меня в спину.

И не смогу ответить, чей удар был бы больше всего.

А ещё мне очень хотелось бы знать, почему меня так странно взяли. Странно и... мягко?

## 2. Александр Балканов, до.

Экчулли, в ту субботу идти на собрание мне не хотелось. «Чёрная гвардия» стала рисентли такое себе. Какой смысл вообще регать партию, в которой один умный человек на сто идиотс? Ну а последнее собрание было – полный дисап-пойнт.

Начать с того, что Вит притащил свою новую гёрлфренд. Экчулли, ничего не имею против гёрлфрендов, лишь бы Вит был счастлив – а он прямо светится, как голый зад при луне (не помню, откуда это, надо у Вита и спросить, это по его профилю), но это оказалась типичная тёлочка-дакфейс, и я рилли не понял, что она здесь забыла. Спросил, чисто формалли – а вы какого направления в анархизме придерживаетесь? Она посмотрела из-под наращенных ресниц с таким видом, что всё это ей абсолютно конфузинг, и спрашивает: чо?

Первым был мой доклад о принципах действия минимального государства. Ну то есть, клиарли, я стою на том, что любое государство, делающее больше обязательного минимума, действует анризонабли, что оно не имеет права диктовать, какие риски для здоровья и жизни могут принимать граждане, что не должно быть налогообложения, энд со он. Когда дошёл до налогообложения, влез Данила Рыбин, наш муд-киллер, которому лишь бы задать вопрос, а ответ ему

индифферент, и заявляет:

– А вот на данный момент как нам быть с государственными структурами в современном их виде?

– Пётр Алексеевич Кропоткин, – говорю я, – сделал правильный вывод. Приближает анархию тот, кто оставляет государство без работы. Консиквентли, там, где можно избежать столкновения с государственными структурами, надо избегать.

По-моему, консидерабли. Но Рыбин знай себе гнёт:

– А вот, например, многие из нас имеют дипломы. Товарищ Гриневич, например, имеет красный диплом юридического факультета МГУ – государственного, например, образца.

При чём тут Гриневич, когда мы тут экчулли все что-то да закончили – Рыбин не в счёт? При том только, что Рыбин хейтит Гриневич. Мэйби, привык всех гёрлз хлопать по заднице, а Гриневич приходится пожимать руку, потому что у неё не особенно разберёшь, по чему хлопать. Ну, её многие хейтят, она такая битчи. Я и сам не её фанат, но умная, эвидентли.

– Ну и что? – отвечаю я как можно спокойнее. – Если человек получил образование, это, оф кос, пойдёт на пользу всей нашей партии, а уж как он его получил – никого не касается.

– А по-моему, настоящий анархист не имеет права пользоваться ничем, что предоставляет государство, в том числе

и правом на образование, да к тому же ещё на бюджетной основе.

– То есть, – говорит Гриневич, – я его на платной, что ли, должна была получить?

Тут поднялся полнейший месс, а Рыбину того и надо – сидит себе смайлит. Одни кретины орут, что раз государство никуда не денется, надо выжать из него все возможные ресурсы, другие кретины – что вот из-за таких, как первые, государство никуда и не денется. В этом месте Витова гёрлфренд встаёт и заявляет, чтобы все шатапнулись, потому что она прегги. Рыбин смайлит ещё шире и спрашивает:

– Товарищ Лопатко, это ваша супруга?

– Гражданская, – говорит Вит. – Если это провокация, то уточняю сразу, что государственно брак не зарегистрирован – вот вам и пример.

– Однако же, допустим, родится ребёнок – пойдёте получать свидетельство о рождении?

Вит пожимает плечами и говорит, что ну конечно, пойдёт, какой факинг ребёнок без свидетельства о рождении.

– А я считаю, – гнёт Рыбин, – что ему не нужно свидетельство о рождении, как и любой другой документ государственного образца. Ладно ещё мы, старшее поколение, вынужденное жить в отсталом несовершенном мире. Но человек новый, дитя грядущей, несомненно прекрасной эпохи, должен обходиться безо всей этой макулатуры.

Ну не имбецилити? А кто может выставить с собрания Ры-

бина и прочих идиотс? Никто не может, в том-то и дело. Поэтому я решил не ходить и вместо того по скайпу побольше пообщаться с Лекси.

В последнее время она мне как глоток свежего воздуха. Лекси. Вдумайтесь, как звучит – Лекси. Лексика, лёгкость, гладкость. Летс плей. Я думал, это полное имя, оказалось – сокращение от Александры, то есть экчулли мы носим одно и то же имя, только моё сокращают совсем иначе. Са-ша. Ни одной твёрдой буквы. Склизкое, мерзкое, дис-костное, дис-вольное, дис-полое, дис-зубое сю-сю-канье. Со-си си-сю, Ся-ся!

У Лекси розовый хаер, выбритые виски, проколотый нос и забитые татуировками две трети тела. Лекси работает воспитательницей в детском саду. Лекси обожает Россию.

– Ooh, Russia! Matryoshka, vodka, Putin! – заверещала она, когда я сказал ей, откуда я. – Do you love Russia?

А что я мог сказать, когда она сама бэзикалли ответила на свой вопрос? Можно ли любить страну, которая у иностранцев ассоциируется исключительно с вонючим пойлом, уродливыми куклами, довольно точными копиями моих соотечественниц, и... ладно, это аут оф пойнт. Я пожал плечами и попросил, чтобы она лучше рассказала мне что-нибудь про Америку, и она стала рассказывать про свой детский сад.

Экчулли, у нас бы в жизни не допустили работать в детсаду кого-то вроде Лекси. Но фрэнкли, наша бейбиситтерша, Анастасия Ивановна, была тоже вполне себе фриком. Вме-

сто розовых волос у неё были пергидрольные кудряшки, вместо тату – массивные золотые украшения, на каждом пальце с треугольными ногтями – штук по десять колец.

Лекси рассказывает, как они развлекаются – у них там не то чтобы детский сад, а такое типа начальной школы, так что они там считают, строят, лепят энд со он. Она болтает своё, а я вспоминаю Анастасию Ивановну, её пухлые пальцы и книги в донельзя заюзанных обложках – их она читала, не отрываясь, а мы ходили взад и вперёд, в летнее время снаружи сада, собирали там что-то типа желудей, а в зимнее – внутри, и тут уже собирать было нечего даже формалли.

На этой ноте звонит Вит. Я думаю, как не идти на собрание, но он говорит:

– Перед собранием зайдёшь ко мне на полчасика, это очень важно.

Голос взволнованный – видимо, рилли что-то важное.

– Бойфренд? – спрашивает Лекси. Фанни – то же самое когда-то думали у нас в школе.

– Бро, – отвечаю я. Фрэнкли, так и есть. Друг – это бро, которого ты выбрал сам.

– О'кей, – говорит Лекси и рассказывает, чем кормят детишек – разными там снэками да гранолами, если у кого с желудком траблы – прочими смузи. Когда Анастасия Ивановна отрывалась от заюзанных книг, она впихивала в нас мостли каши да слипшиися макароны, но однажды попыталась впихнуть какой-то полупереработанный кэтфуд. Я сжал зу-

бы и мотал головой, давая понять, что не буду есть такое кэтшит. Анастасия Ивановна стянула губы в куриный батт и придвинула ложку вплотную к моему рту. Я замотал головой сильнее.

– Пока не доешь, из-за стола не выйдешь! – заявила Анастасия Ивановна и вернулась к книге в заюзанной обложке. Я сидел за столом до конца дня, а мои коллеги, не такие принципиальные, один за другим страдали траблами с желудком, которые Лекси называет гиппи-тамми, Как думаете, что такое двадцать детей с гиппи-тамми, не умеющих добежать до сортира?

Такие вот воспоминания. Лекси рассказывает об экскурсии в акваторию, о постановке спектакля, о живом уголке. О том, что теперь Джек хочет стать капитаном, Венди – актрисой, а Белла – ветеринаром. Я думаю, что именно тот день кэтфуда был день, когда я стал анархистом.

Фрэнкли, никакой такой чайлдхёрт или как это там называется, у меня не осталось. Литл бит завидую, но не более. Мы симпли из разных миров. Эссеншели одинаковых, но разных. Как Лекси и Саша.

### 3. Виталий Лопатко, после

То ли оттого, что боль под ребром так до конца и не прошла, то ли оттого, что в камере душно и пахнет бомжами, мне приснился Тишкин. Навис надо мной, скалясь и глумливо смеясь, ткнул пальцем в бок, я ощутил его зловонное дыхание и проснулся, но легче не стало.

Не считая Тишкина, школу я вспоминаю с теплом – иначе, конечно, не стал бы туда возвращаться уже в качестве учителя. Хотя, в сущности, ничего такого особенно тёплого там и не было – тихий алкаш физрук, буйный алкаш трудовик, старая стерва химичка, молодая стерва математичка. Англичанка, героиня наших эротических снов, имевшая довольно смутное представление, как должен звучать английский язык. Двенадцать мальчиков, четырнадцать девочек. Драки, прыщи, потные подмышки, любит – не любит, плюнет – поцелует. Но школу я любил вот за что: никто и никогда не докапывался к нашему внешнему виду.

Я не могу себе представить, что в голове у человека, который разворачивает ученика домой, потому что на нём, скажем, не белая рубашка, а голубая. Я не могу себе представить, что потом вырастет из этого ученика. Мысль о том, что какая-нибудь другая школа могла предпочесть унижить меня, попытаться вписать в систему, дать понять, что урок подчинения важнее уроков математики и истории, наполняя-

ет меня глубокой ненавистью к подобным школам и глубокой нежностью – к моей давно не видевшей ремонта средней школе номер восемь, где я абсолютно раздолбайски, но неплохо учился и где сейчас абсолютно раздолбайски, но неплохо преподаю.

В седьмом классе я, замкнутый, мрачный, недружелюбный, но, не побоюсь этих слов, довольно развитый подросток, носил длинные, до лопаток, волосы и толстовку с Королём и Шутом. Мои политические убеждения тогда уже почти окончательно сформировались, а музыкальный вкус оставлял желать лучшего: в сущности, я обожал всех исполнителей, лишь бы в их текстах звучало что-то про анархию, я даже Цоя обожал за «Маму-анархию», что уж говорить о Короле и Шуте. Бродя в одиночестве по школьным коридорам, потому что больше на переменах заняться было нечем, я до исступления переслушивал строчки, приводившие меня в щенячий восторг:

*Среди ублютков шёл артист,*

*В кожаном плаще,*

*Мёртвый анархист...*

Стоя у зеркала, я любовался на себя в этой толстовке. У меня была и ещё одна причина её обожать: это было первое, что я приобрёл на свои собственные деньги. Моя железобетонная мать никогда в жизни не купила бы мне ничего подобного, поэтому весь август я провёл, прости Господи, в костюме косточки – раздавал листовки только что открыв-

шегоя зоомагазина. Впрочем, благодаря особенностям моего тогдашнего мышления я даже в этом костюме видел какую-то своеобразную готику.

И, конечно, я представлял себя тем самым мёртвым анархистом, и мечтал, что на следующий год буду раздавать листовки всё лето, но непременно обзаведусь кожаным плащом, и не заметил, как сзади подошёл Тишкин.

Он учился, кажется, в десятом, но по виду лет ему можно было дать и двадцать, и сорок. У него не хватало зубов, голос был скрипучим, а сам он очень длинным и костлявым – если на то пошло, мёртвого анархиста из нас двоих напоминал именно он.

– А? – спросил я и вынул наушник.

– Я грю, КиШ – говно! – проскрипел он, наклонившись надо мной и обдав вонью нечищенных зубов и несвежего пубертатного тела. Я хотел возразить, но его длинный, тонкий, заскорузлый палец с грязным ногтем неожиданно ткнул мне под ребро. Боль была такой внезапной и острой, что я согнулся пополам.

Звонок на урок избавил меня от необходимости достойного ответа. Но с тех пор Тишкин не давал мне покоя. Перемены, в которые я бродил взад-вперёд по школе, воображая себя артистом среди ублюдков, превратились в настоящий ублюдочный ад. Как правило, Тишкин ограничивался своей сакраментальной фразой и тычком под рёбра, но иногда решал проявить фантазию.

– Чо волосатый, как тёлка? Слышь, может, ты тёлка? – и с радостным гоготанием он тыкал мне в грудь, метясь в область соска. – Гля, тёлка без сисек!

Теперь по ночам, вместо того чтобы представлять себя предводителем зомби-анархистов – *был на руке застывший фак, из кармана торчал пиратский флаг* – я воображал, как расправляюсь с Тишкиным, а утром всё начиналось сначала.

*Трупы дохли, снова оживали,*

*Ржали людям вслед...*

Драться с ним я не рискнул бы. Несмотря на свою костлявость, Тишкин был жилистым и явно сильным, к тому же на несколько лет старше, к тому же, в отличие от меня, общительным, так что если бы я по всем правилам этикета забил ему стрелку, он мог запросто притащить с собой своих дружков-дегенератов, а у меня таких дружков не было, да и вообще никаких не было. Так что я задыхался от бессильной ненависти и мечтал о расправе – или хотя бы о том, чтобы перестать жмуриться, когда он тычет в меня своим отвратительным пальцем и из моих глаз сыплются искры.

Но в тот день я тоже зажмурился и сквозь пелену боли внезапно услышал:

– Гоу фак йоселф.

– Чо? – лица Тишкина я не видел, но легко нарисовал себе, как от удивления отвисает его челюсть. И, осмелев, вольно перевёл:

– Отвали!

Надолго смелости не хватило. Я тут же сжал веки ещё плотнее, ожидая новой вспышки, но её не последовало. На плечо мне легла чья-то тяжёлая рука.

– Чувак, ты нормалли?

Я увидел бугая из одиннадцатого, на мощных плечах которого едва сходилась серый пиджак, очень напоминавший форменный. Форму у нас не носил никто, кроме первоклашек и этого гиганта, поэтому пару раз я обращал на него внимание, но считал отморозком наподобие Тишкина, только почему-то косившим под хорошего мальчика.

– Нормалли, – буркнул я, чувствуя, как краснеют щёки. Всё моё тело наполнилось таким ядовитым стыдом, что для благодарности в нём уже не осталось места.

– Больше он тебя не тронет, – пообещал бугай. В общем-то, его мощная фигура не оставляла в этом никаких сомнений. Я с трудом нашёл в себе силы кивнуть и пропищать:

– Спас-сибо...

– Только вот что, – бугай снисходительно посмотрел на меня. – Не обижайся, но КиШ и правда говно. Как, экчулли, почти весь русский рок.

Мне было без того до того стыдно, липко, мерзко и отвратительно, что я ощутил желание ответить что-нибудь грубое. Не поднимая глаз, сдавленно буркнул себе под нос:

– А что же мне, блатняк слушать?

Бугай неожиданно рассмеялся.

– Фрэнкли, – ответил он, и эти английские слова невпо-

пад показались мне такими же нелепыми, как школьный пиджак на огромном теле, – вся русская музыка в какой-то мере и есть блатняк. Ты есть в соцсетях?

Вечером он добавил ко мне в друзья и тем же вечером открыл мне новый мир. Korn, Slipknot, System of a Down. Андерстэнд?

Он научил меня разбираться в фильмах. Он научил меня давать сдачи таким, как Тишкин. Он научил меня плавать и немного – управлять мотоциклом. Он научил меня следить за собой и соблюдать гигиену. Он стал для меня чем-то большим даже, чем старший брат – в какой-то мере он стал для меня отцом.

Когда кто-то из дегенератов-дружков Тишкина пустил слухи о том, что мы с ним не совсем друзья, а нечто иное, он быстро пресёк эти слухи. Я был рядом и пытался помочь ему, как мог.

– Ю си, – объяснял он потом, прикладывая лёд к моему подбитому глазу, – трабл не в том, что стыдно быть геем. Трабл в том, что никто не имеет права обсуждать твою прайват-лайф, ещё и в таком ключе.

– Но ты ведь не... – пробормотал я, и он рассмеялся.

– Нет, конечно. Ты симпли здесь единственный нормальный человек.

И тогда я наконец ощутил к нему настоящую благодарность – за то, что он поверил в мою исключительность. Друг – это брат, которого ты выбрал сам.

И вот прошло почти два десятка лет, и у меня вновь болят рёбра, и он уже не придёт на помощь, и это не самое страшное.

Самое страшное заключается в том, что я здесь, вполне вероятно, по его вине.

## 4. Эмма Гриневич, до.

Загородный коттедж кандидата в депутаты Олега Зверухина выполнен преимущественно из бетонных плит и монолитных железобетонных конструкций. Архитектор предпочёл акцентировать внимание на простых формах и линиях, а от фасадного декора отказался – серые стены не отделаны вообще ничем с целью усилить эффект основательности сооружения. Некоторую визуальную лёгкость придаёт разве что панорамное остекление.

На первом этаже коттеджа находится чёрно-белая гостиная с камином и мягкими диванами с кожаной обивкой, домашний кинотеатр и бильярдный зал. Наверху расположены спальни – три гостевых и хозяйская. Две трети последней занимает огромная тёмно-серая кровать. На кровати лежит, раскинувшись во весь рост, полностью обнажённый депутат в прошлом созыве и нынешний кандидат в депутаты Олег Зверухин. В ногах у него сижу я, полностью обнажённый кандидат юридических наук Эмма Гриневич, и самым беззастенчивым образом редактирую в его айфоне фотографии с вчерашнего банкета.

Редактировать – на первый взгляд сильное слово для определения того, что я делаю. Собственно говоря, я обрезаю с фотографий себя, но без моего присутствия они становятся настолько лучше, что я считаю, слово «редактиро-

вать» здесь вполне применимо. Я существенно облегчила себе задачу, стараясь сесть или же встать преимущественно с краю, и с такими фотографиями проблем не возникает. Те же, на которых мне это почему-то не удалось, я без зазрения совести просто удаляю, и всё.

Цель, которую я довольно наивно преследую – чтобы мои фотографии не были выложены в Сеть и не попались на глаза кому-нибудь из наших – может показаться глупой, поскольку фотографии может выложить не только Олег Зверухин, но и кто угодно из присутствующих на банкете, к айфонам которых я не имею доступа. Не могу не согласиться. Но в то же время я испытываю своего рода мазохистский кайф, удаляя хотя бы эту часть себя.

Видите ли, я так и не смогла избавиться от глубокого отвращения к собственной внешности. Я смогла замаскировать это отвращение и почти полностью убедить себя, что внешность – инструмент, посредством которого нами манипулирует патриархальное общество. В определённой степени я научилась даже быть признательной за свою некрасивость: как ни крути, мальчиком быть значительно круче, чем девочкой, а некрасивая девочка – всегда немного мальчик.

Когда ты красивая девочка, привыкшая получать всё на основании этого простого факта, атрофируются многие полезные навыки, иногда даже мозг. Взять, например, существо, которое на прошлое собрание притащил Совок и представил нам как свою гражданскую супругу Марочку.

Очаровательное существо: ногти длиннее, чем юбка, в декольте можно разглядеть отсутствие нижнего белья, причём не только верхней, но и нижней его половины, простите за ненужную тавтологию. Надо ли этому существу прокачивать в себе какие-либо умения, кроме как закатывать глаза и скандалы, не теряя при этом сексапильности? Очень сомневаюсь.

Но даже если сравнить Марочку с нашей, допустим, Верочкой Сентябрёвой. На первый взгляд общего у них ничего, кроме огромных сисек (причём в случае Марочки – очевидно фальшивых) и невыносимого запаха (от одной пахнет вонючими дешёвыми духами, от другой – вонючей афонской смолой). Но если приглядеться, становится ясно: они с одного конвейера. И если Марочка молчала всё собрание, потому что ей в принципе нечего сказать, то Верочка всегда молчит оттого, что понимает – её мнение практически не имеет веса, невзирая на декларируемое в нашей партии равенство полов. И та, и другая – красивые куклы, заложницы патриархата. Я никогда такой не стану, потому что патриархат изначально списал меня в утиль, и пришлось отчаянно барахтаться, чтобы стать той, кто я сейчас.

Все эти мысли придают мне сил, и сейчас мне значительно легче, чем в годы юности, когда я отчаянно пыталась носить платья и длинные волосы, пыталась строить нормальные отношения, пыталась вписаться в рамки, выталкивавшие меня снова и снова. Но всё-таки это фото лучше удалить. И это.

И следующее тоже. И...

Мой собственный телефон в сумке взрывается отчаянным воплем. Кандидат в депутаты Зверухин ворочается, и за те пять секунд, что он ворочается, я успеваю запихнуть его айфон обратно в карман пиджака, свисающего со спинки кровати, сунуть руку в сумку и на ощупь отключить звук. Зверухин приоткрывает глаза и сонно улыбается.

– Ну мы вчера дали, да? – спрашивает он.

– Да.

– Думаешь, что...

– На этих выборах ты порвёшь Госдуму, – отвечаю я совершенно искренне. В большинстве случаев я говорю то, что думаю – ещё одна роскошь, вряд ли доступная Марочке и Верочке.

– Нет, – говорит он тихо.

– Почему?

Зверухин улыбается шире и притягивает меня к себе.

– Мы порвём.

Почти в ту же секунду, как он входит в меня, я взрываюсь, я разлетаюсь на куски, растворившись в воздухе, слившись с ним, став каждой каплей, каждой чайинкой на дне стакана, тиканьем часов, холодной свежестью нового дня, став – всегда чужая этому миру – неотъемлемой его частью, и мир принимает меня в свои объятия, горячо и радостно вибрируя вокруг.

Он останавливается резко – слишком резко – и падает

на кровать, и я открываю глаза, вижу его посиневшие губы и прилипшую к влажному лбу светлую прядь; я люблю эти губы и этот влажный лоб, и вот отчего мне иногда так противно быть мной, как бы старательно я ни выдавливала из себя свою внутреннюю Марочку.

Я спрыгиваю с кровати и бегу за корвалолом, подношу чашку к его рту, с болезненной нежностью смотрю, как он пьёт из моих рук. Ему нельзя столько крепкого алкоголя – какой нудный в своей очевидности факт! – ему нельзя столько курить, ему нельзя столько работать, ему даже заниматься сексом в таких количествах нельзя.

У Олега Зверухина большое сердце.

Я глажу его большую умную голову, накрываю одеялом его большое умное тело, подтыкаю одеяло со всех сторон. Он кажется мне отцом, которого у меня никогда не было, и в то же время сыном, которого у меня никогда не будет.

– Ты ... у тебя... ну, ты... успела? – слабо спрашивает Зверухин, и его бледные щёки чуть розовеют. Не смущаясь почти ничего, он смущается говорить о сексе в каких бы то ни было терминах – и эту его черту я тоже люблю.

– По-моему, ты станешь первым депутатом, думающим о нуждах народа больше, чем о своих, – отвечаю я и целую его в мокрый лоб. – И перестань задавать риторические вопросы.

Мир, вновь ставший равнодушным и к Зверухину, и ко мне, продолжает вибрировать. Я достаю телефон из сумки

и вижу восемь пропущенных от Совка. Надо бы прекратить называть Совка Совком, во всяком случае, в глаза – хотя забавно, конечно, наблюдать, как краснеет его маленький розовый носик и как он бормочет какую-то чушь наподобие «совок не любит только грязь». Конечно, он не может не понимать, что его прозвище не есть банальная и не особенно остроумная интерпретация фамилии Лопатко. Но, чёрт возьми, наш Совочек – анархо-коммунист. Что вообще такое анархо-коммунист – это как веган-каннибал?

Так, ещё и в ватсапе написал. Просит перед собранием зайти к нему домой на полчаса. Меня поражает неприятная догадка: видимо, кто-то всё же слил в сеть необработанные фото с банкета. Ладно, по дороге что-нибудь придумаю. Ехать полтора часа, следовательно, выезжать надо уже сейчас.

– Я сметаюсь на собрание, – говорю я Зверухину, лицо которого понемногу обретает привычный цвет. – С тобой же всё будет в порядке, да?

– Если не стану подвергать себя подобным физическим нагрузкам, – отвечает он и улыбается. – А это без тебя довольно проблематично.

– Да нет, почему же, – как любая уважающая себя анархистка, я не опускаюсь до ревности. Любовь, скованная искусственными границами – тюрьма для чувств. Я не собираюсь удерживать дорогого мне человека рамками собственничества. – На банкете было много интересных женщин.

– Господи, Эська, – он недовольно кривит рот, – ну что за бред ты всегда несёшь? Вали уже к своим анархам.

Я быстро одеваюсь: простое, лишённое всякой сексуальности бельё, потёртые синие джинсы, белая майка, косуха. Провожу пальцами по ёжику волос. Подхватываю сумку, вновь целую Олега.

– Ничего не забыла? – кричит он вслед. Твою же мать...

Я, конечно, могла бы сказать, что у меня без него дел по горло, и что я ему тут не нанималась, и что у него есть предвыборный штаб, вот пусть они и занимаются этой хераборой, в конце концов им за это платят. Я могла бы сказать, что буквально на днях уже потратила своё личное время на заказ баннеров с его мурлом, как будто мне больше всех надо, а теперь это, ну охренеть можно, то одно, то другое, как будто мне больше заняться нечем, ну не свинство вообще, некоторым людям только сунь палец в рот, они тебе ещё не то откусят. Я могла бы сказать, что у меня свои принципы, которые никак не соотносятся с подобной деятельностью, и что я не собираюсь становиться существом ещё более невыносимым, чем веган-каннибал, да в конце концов, что я кандидат юридических наук, а не херня из-под коня. Но вместо этого я выдвигаю ящик стола, достаю оттуда несколько стопок разноцветных листовок с кроваво-красной надписью «Голосуй за Зверухина» и заталкиваю в сумку, представляя себе, что заталкиваю в самую глубину души внутреннюю Марочку, которая торжествующе пищит – ну вот, ты совсем и не всегда

говоришь, что думаешь. Никакая ты не анархо-феминистка, ты такая же, как все другие бабы.

Дело ведь не в этом.

Дело в том, что у Олега Зверухина больное сердце.

## 5. Виталий Лопатко, после

Бледный луч пробивается в крошечное окно камеры. Мобильник у меня, разумеется, забрали, если только он сам не выпал из кармана ещё до этого всего, и я не знаю, сколько сейчас времени, но учительским чутьём определяю, что первый урок уже начался. Девятый Бэ, «Гроза».

Я представляю себе двух заклятых подружек с первой парты, Собакину и Белых, наперебой лопочущих, что Кабаниха – абьюзер, Тихон – неглектер, у Катерины стокгольмский синдром, а единственный нормальный человек там Варвара. Я представляю, как двоечник Матюшин, которому я очень хочу вывести три, авторски интерпретирует сюжет, мыча, что тёлочка как бы выпилилась, но ей как бы за это респект. Я представляю, как хулиган Перфильев отчаянно тянет руку, и когда я наконец обращаю на него внимание, спрашивает, не от слова ли *disk* фамилия Дикой. Господи, я... скучаю по ним.

Странно – ведь это не я беременный, и гормональные изменения происходят не в моём организме, но когда я узнал, что стану отцом, я стал чувствовать нелепую любовь к детям – хотя какие к чёрту дети, они на голову меня выше, да и давно ли я сам сидел по ту сторону учительского стола? Но факт остаётся фактом – я люблю их, и меня бросает в дрожь при мысли, что даже если всё каким-то немислимым

чудом обойдётся и мне не впают срок, эта история получит огласку, а она непременно получит, потому что даже у чуда есть границы, и это значит только одно – меня в любом случае лишат права преподавания. Тем удивительнее, что когда-то я вообще собирался стать не учителем, а юристом.

Моя титановая мать никогда не признавала полутонов. Либо ты закончил юрфак МГУ с красным дипломом, либо ты неудачник. Потом можешь делать что угодно – хоть открыть свой бизнес, хоть продолжать раздавать листовки в костюме косточки, но если ты не вписался в первую категорию, ты неизбежно будешь причислен ко второй, и когда со мной произошло именно это, я понял – хотя и не без помощи Балканыча – только так и можно было отстоять свою свободу.

Но понял я не сразу. Я до тошноты зубрил историю и обществознание, я почти не спал, я похудел ещё больше и остриг свои длинные волосы, чтобы, вопреки всем своим убеждениям, не выделяться из толпы. Я глотал кофе в страшных количествах, я жалел, что я не британский премьер-министр и не могу добавлять в него опиум. Я поступил – и, увидев своё имя в списке поступивших, натурально расплакался от облегчения, которое, как оказалось, было преждевременным.

Вступительные экзамены были первым уровнем этого невысказанного квеста. Но хуже всего меня мучила не зубрёжка, не бессонница и не тошнота. Хуже всего меня мучил, не поверите, неотступный половой голод.

Летом, в которое мне исполнилось шестнадцать, меня соблазнила полная, крепконогая, жизнерадостная, лет под пятьдесят малярша Тома, делавшая ремонт в маминой комнате. Мне до сих пор кажется странным, что это произошло. И ещё более странным мне кажется, что две самые значимые женщины моей жизни, первая и последняя, носят одно и то же, довольно редкое имя. Наверное, у всего, что с нами происходит, всё-таки есть какой-то план. Моя урановая мать была на работе, сохли недокрашенные тёмно-бежевые стены, и стремянка, широко расставив ноги, цинично таращилась на нас.

Тома раскрасила мой мир. Прежде мутный, тёмно-бежевый, как эти свежеекрашенные стены, он стал солнечно-сочным, обрёл краски, и запахи, и звуки, и когда я рассказал об этом Балканычу, а тот безразлично посмотрел на меня и обозвал не то дикхедом, не то ещё каким-то английским словом, я впервые в жизни с ним поссорился. Потом мы, конечно, помирились, но какая-то трещина пробежала.

Ремонт закончился, и Тома исчезла из моей жизни, а глохущий половой голод остался. На нашем курсе было три девушки: Танечка, Катечка и Гриневич – её имени я не знал, да оно меня и не интересовало. Две первые учились на платном, постоянно ссорились, мирились и даже не скрывали того факта, что явились сюда за потенциальными олигархами. Танечка была симпатичной. Катечка – красивой. Я понимал, что мне не светит. Гриневич была... поразительно отталки-

вающей.

Теперь, когда в моей жизни есть Мара, моя фантастически прекрасная, золотистая Мара, сводящая меня с ума, особенно теперь, с этой её особенной беременной походкой, с этими постоянными истериками, которые так приятно успокаивать, моя обожаемая Мара с маленькой косточкой внутри нежного персика живота, завязью крошечного, похожего на меня человечка – я почти не могу представить, каких глубин отчаяния нужно было достигнуть, чтобы разглядеть в Гриневич секс-объект. Всё, что может привлекать в женщине, в ней было ровно наоборот. Когда Сергей Николаевич, наш препод по уголовному праву, решил с нами познакомиться и попросил рассказать о себе, все молчали. А что рассказывать? Биография была стандартной: закончил одиннадцать классов, поступил сюда. Неожиданно поднялась Гриневич и, глядя в глаза Сергею Николаевичу, начала рассказ. Я, сказала Гриневич, родилась в бедной еврейской семье.

Не удержавшись, я фыркнул – уж очень походило на начало анекдота. Гриневич повернулась ко мне и обвела меня взглядом жёлто-карих глаз, вытарщенных за очками с огромными диоптриями. В этом взгляде была и жалость, и презрение, и сочувствие, и сочетание с уродливыми чертами лица Гриневич дало такой эффект, что меня замутило.

Но мой половой голод был страшным. От него не спасало порно, потому что я не научился отождествлять мужчин на экране с собой, и, достигнув подобия желанного резуль-

тата, оно оставляло во мне ощущение ещё большей тоски и безысходности, потому что женщины на экране ласкали кого-то другого, не меня. Вызвать проститутку я не мог, у меня не было денег – напряжённая учёба не оставляла времени на подработку, а стипендию отбирала моя хромовая мать, оставляя только на проезд – поэтому я сказал себе, что продажная любовь унизительна. Поэтому я сказал себе, что Гриневич тоже плохо, ещё, может быть, даже хуже, чем мне, потому что мне ещё может выпасть шанс – вот выпал же с Томой! – а ей никакого шанса никогда не выпадет, и конечно, у Гриневич я окажусь первым – была в этом своего рода особая привлекательность, когда никакой другой привлекательности не было. И, выбрав день перед Новым годом, я пошёл в её комнату на втором этаже нашего общежития.

На лекции Гриневич носила преимущественно чёрное платье с белым воротничком, скромное платье до колена, висевшее на ней, как на вешалке, но всё-таки не слишком привлекавшее внимание. Но дверь она открыла в светло-голубом халатике с кружевной отделкой, очень красивом и очень ей не идущем – нарядная Гриневич стала ещё уродливее. Я сказал себе, что нет никакой разницы, потому что халатик она всё равно снимет, но мои ладони взмокли, и мне начало казаться, что я зря всё это задумал.

– Что такое? – хмуро спросила она.

– Слушай, Гриневич, – забормотал я, не узнавая собственный голос, – ты не могла бы объяснить, ну, насчёт правового

регулирования?

– Елена Степановна доходчиво объяснила, – отрезала она, – не понимаю, чем ты слушал.

– Она картавит, – заканючил я, – слушать невозможно, бесит. Не понимаю, если собираешься преподавать, как можно не исправить элементарный дефект... – я осёкся. Не хотелось слишком уж откровенничать с Гриневич, представлявшей собой сплошной элементарный дефект.

– Ладно, давай объясню, – Гриневич тяжело вздохнула и повела меня в комнату, где, как я знал, больше никого не было – все уже на новогодние каникулы разъехались домой, чего лично мне совершенно не хотелось.

– Садись, – велела Гриневич и принялась рассказывать и расхаживать из угла в угол. Я ожидал, что она сядет рядом и можно будет ненавязчиво положить ладонь ей на колено, а потом так же ненавязчиво повести выше – один из порнофильмов, которые я смотрел, начинался примерно так же. Но Гриневич ходила из угла в угол и рассказывала, и я неожиданно поймал себя на том, что слушаю, хотя изначально преследовал совсем другую цель. У неё был чёткий, хорошо поставленный голос, и всё, что она говорила, она явно усвоила не в результате убийственной зубрёжки, как я, а благодаря искреннему интересу к предмету.

– Всё понял? – спросила она в конце.

– Вроде, – пробормотал я.

– Ну так вали, – и она направилась к двери. Мои ладони

взмokли сильнее, и, поняв, что это последняя возможность, я за пояс от халата потянул её к себе.

Гриневич посмотрела на меня, как тогда на лекции, и тихо спросила:

– Совок, ты мудак?

– Ну... я думал... может, ты... может, мы... -замямлил я, никак не ожидавший такого поворота. В моих фантазиях Гриневич тут же кидалась мне на шею и воспроизводила всё то, что я видел на экране – то есть, строго говоря, в моих фантазиях фигурировала вообще не Гриневич, но я уже убедил себя брать что дают, и тут выяснилось, что мне не дают и этого.

– Мудак, – повторила она без кокетливости, без злости, с какой-то глубокой тоской. – Ты думал, что если уродина, то точно не откажет, да?

В этом прямом, лаконичном изложении мои мысли показались мне ещё отвратительнее. Я что-то вякал, мяукал, отчаянно пытаюсь оправдаться, но она захлопнула за мной дверь, и мне послышались всхлипы, хотя, может быть, они мне только послышались.

Весь следующий день я не находил себе места. Я попросил у Балканыча перевести мне на карту немного денег, купил торт и вновь потащился в общежитие, чувствуя себя так, будто убил какое-то животное, а теперь иду потыкать в него палкой и проверить, точно ли оно не шевелится.

Гриневич вновь открыла дверь. Вновь обвела меня тем же

взглядом. Тихо сказала:

– Нет, Совок, за клубничный торт я тоже тебе не дам.

– Он черничный, – глупо ляпнул я.

– А-а, – Гриневич провела пальцами по жидким, грязно-серого цвета волосам, – ну тогда другое дело.

Я недоумённо смотрел на неё, и она вдруг расхохоталась – так же живо и искренне, как читала мне лекцию. И – удивительно – её уродливое лицо вдруг показалось мне почти симпатичным.

Торт мы разделили пополам. У неё неожиданно обнаружилось дешёвое вино, которое мы пили из чайных чашек, и лёд между нами треснул, и мы говорили и говорили, и Гриневич то и дело взрывалась своим удивительным смехом.

Зимнюю сессию я сдал каким-то чудом. Вскоре после неё переспал с Танечкой, это оказалось просто – как выяснилось, в ожидании олигархов надо на ком-то оттачивать мастерство.

Но после лекций я возвращался домой с Гриневич. Она оказалась просто невероятной собеседницей. Говорили в основном о политике – наши убеждения полностью совпадали, ещё один поразительный сюрприз! Она была умной, как Балканыч, но в ней было то, чего так не хватало Балканычу – потрясающее чисто еврейское остроумие и такая же потрясающая чисто еврейская воля к жизни.

Меня всегда раздражало выражение «просто друзья». Потому что друг – это гораздо сложнее и гораздо круче, чем

кто-нибудь, с кем можно потыкаться гениталиями. Надеюсь на нелепый, жалкий секс, я неожиданно обрёл несоизмеримо больше.

Летнюю сессию я завалил и был отчислен. Моя иридиевая мать смотрела на меня как на пустое место. Ю си, сказал Балканыч, это и есть свобода.

Осенью я поступил в педвуз нашего Скотопригоньевска.

## 6. Александр Балканов, до.

Звоня в домофон, я слышу за спиной топот армейских ботинок. И экчулли, ещё до того, как обернуться, понимаю, кто это, не понимаю только, зачем.

Я говорил, что Гриневич редкая битч? Фрэнкли, это очень мягко. Большого токсика я не встречал. Умеет Вит подбирать людей, ничего не скажешь.

– Хелло, – говорю я вежливо.

– Дерьма кило, – бурчит Гриневич и вперёд меня несётся по лестнице – только тощие ноги мелькают. Бьютифул. Без этой вот кант уже с бро пересечься нельзя, сириусли?

Дверь открывает Марочка в розовом мини-неглиже, не скрывающем ничего, включая аннейчурно выпирающий живот – а, ну да, она же говорила, что прегги, и когда Вит только успел? Гриневич дёргает носом – она, насколько помню, чайлдхейтер, хотя кого Гриневич не хейтит, тоже ещё вопрос.

Но дальше совсем уже шок. На убогой кухне Вита с претензией на лофт, за расшатанным икеевским столом сидят Вит и, что совершенно неожиданно, Вера Сентябрёва.

– Вотафак? – спрашиваю я фрэнкли.

– Ну наконец-то, – говорит Вит. – Давайте заходите, и сразу к делу.

– Да уж хотелось бы, – Гриневич фыркает и тут же заку-

ривает.

– Можно не надо, ну пожалуйста, Марочка не любит, – ноет Вит. Гриневич опять дёргает носом и затягивается эгейн. Вит бледнеет – дело явно не в Марочке, а в том, что он сам рисентли нон-смокер, хотя мэйби, вот тут как раз дело в Марочке – жуёт губу, откашливается и говорит:

– Так вот, на людей я вроде бы вышел.

– Быдло небось какое-то? – спрашивает Гриневич саркастичалли, и я понимаю, что она в курсе. Бьютифул. То есть я не в курсе, зато она – да.

– Нет, бля, ансамбль еврейчиков со скрипочками, – предиктабли возмущается Вит. Бедные нон-смокеры, вечные нервз.

– И сколько они хотят? – спрашивает Гриневич ризонабли.

– Да думаю, по-любому дешевле, чем твой Ролекс, – отвечает Вит так же битгерли.

– Это Картье, – говорит Гриневич. В кухню вplyвают Марочкин абдомен, бюст и сама Марочка.

– Заай, – пищит она, – какие чааасики!

Вит ёрзает на стуле. Вечные нервз.

– Зааай, а ты мне купишь такие чааасики? – продолжает она кэрелессли.

– Не купит, – отвечает Гриневич.

– Почемууу? – Марочка надувает уткогубы, выставляет вперёд бюст.

– Потому что он коммунист, – говорит Гриневич.

– Анархо-коммунист, – говорит Вит.

– Один хрен, – говорит Гриневич.

– Зааай, – говорит Марочка, – а мне пойдёт стрижечка как у неё?

– Тебе всё пойдёт, – говорит Вит, и они устраивают петтинг минут на двадцать. Наконец Гриневич спрашивает:

– Так ты нас на оргию собрал или по делу?

– По делу, – отвечает Вит, и, поворачиваясь к Марочке: – Заинька, а тебе не пора на работу?

– Ну заааай, – канючит Марочка.

– Давай-давай, – подталкивает Вит, вот уж от кого не ожидал. Марочка хватает с подоконника какой-то снэк и улепётывает в соседнюю комнату. Ин момент включается сингл Энигмы. Интересинг. В девяностые, да даже и в нулевые была вроде бы такая тема, фачиться под Энигму, но щас-то кому она нужна? Марочке, суппоз, меньше сорока.

– Короче, – говорит Вит, – мы планируем протестную акцию в Минюсте.

– Вы планируете что? – подаёт наконец голос Вера Сентябрёва.

– Протестную акцию, – повторяет Вит.

– В Минюсте? – пищит Вера.

– В Минюсте, – говорит Вит.

– Вотафак? – говорю я. Экчулли тут больше и сказать нечего.

– Я хочу, чтобы Балканов, – говорит Вит, – договорился с исполнителями.

– Давай сюда план, – говорит Гриневич. Вит начинает пояснять за план.

– Все расходы оплатишь, конечно, ты, – говорит Вит. Гриневич кивает.

– Акцию возглавит Балканов, – говорит Вит.

– Фёрстли, я не... – хочу сказать я, но Гриневич кивает.

– Сентябрьёва как лидер, хотя и номинальный, – продолжает Вит, – возьмёт на себя ответственность за все последствия.

Вера что-то бормочет, но я не слышу, что. А Гриневич вновь кивает.

– Вотафак? – говорю я.

– Мы против власти, – говорит Вит.

– Ну? – говорит Гриневич.

– Следовательно, фактического лидера у нашей партии нет, – говорит Вит.

Гриневич кивает.

– А номинальный есть, – говорит Вит.

Гриневич кивает.

– Следовательно, за все возможные негативные последствия отвечает он. – говорит Вит.

– Ну? – говорит Гриневич.

– Следовательно, в нашем случае отвечает Сентябрьёва.

– Вотафак? – говорю я. Вера пытается что-то сказать,

но ей не дают.

– Ну, продолжай пояснять за план, – говорит Гриневич.

*Новые слова для Веры (учить):*

*Абдомен – живот*

*Аннейчурал – ненатуральный*

*Биттерли – горько (прям.), язвительно (перен.)*

*Бьютифул – прекрасно (в моём лексиконе обычно сарказм)*

*Вотафак – грубое выражение удивления*

*Кант – женский половой орган (груб.). Нет, Иммануил*

*Кант здесь ни при чём, он даже пишется по-другому.*

*Кэрелессли – беззаботно*

*Петтинг – здесь я тоже не в состоянии подобрать равноценный субститут, но, надеюсь, ты сама догадаешься*

*Прегги – беременяшка*

*Предиктабли – предсказуемо*

*Ризонабли – рационально (см. анризонабли и делай вывод, как образуются антонимы)*

*Рисентли – это слово уже было, и ты его вспомнишь*

*Сириусли – серьёзно*

*Смокер – курильщик*

*Суппоз – полагать*

*Фёрстли – во-первых*

*Чайлдхейтер – см. Чайлдхёрт и Хейтер, вычитай и складывай*

*Эгейн – опять*

## 7. Виталий Лопатко, после

Нет, это не могла быть Гриневич. Как говорил классик, этого не может быть, потому что этого не может быть никогда.

Гриневич, моя потрясающая Гриневич, моя боевая подружка, моя почти сестра, моя на протяжении пары месяцев фиктивная гражданская жена – да, было у нас и такое, потому что когда Гриневич, досрочно закончив МГУ, приехала ко мне в гости, из комнаты вышла моя рутениевая мать, и просто влюбилась в Гриневич, и начала засыпать её вопросами, что, да как, да где она живёт, и когда узнала, что живёт она в ещё большей жопе мира, чем наша, сказала ей безо всяких обиняков – да ладно тебе уже, живи у нас.

И Гриневич стала жить у нас.

Моя берилловая мать, разумеется, с ходу решила, что мы пара, и я не спешил её переубеждать. Поскольку мать если вообще смотрела на меня, то смотрела исключительно как на дерьмо, я надеялся, что Гриневич станет своего рода громоотводом. Как-то я подслушал телефонный разговор, в ходе которого она буркнула: придурок он, конечно, полный, но девчонку нашёл – золото, и куда бы он ни вляпался, она его вытащит.

Так мы и жили. Спали на одном диване, что далось мне удивительно легко, отчасти благодаря Танечке, после кото-

рой Гриневич окончательно перестала интересоваться меня как женщина, а отчасти потому что Гриневич вообще почти не спала. Днём она работала, с лёгкостью меняя одну юридическую фирму на другую, а ночью... ночью играла на бирже.

Она и меня попыталась подсадить, но мне стало плохо уже на моменте, когда она начала рассказывать о депозитах и о том, какие у них преимущества по сравнению с инвестициями. Мой бедный мозг загудел от напряжения, как гудел по ночам мой бедный компьютер, и я сказал Гриневич, что всеми этими сомнительными манипуляциями не интересуюсь, за что был удостоен очередным презрительным взглядом жёлто-карих глаз.

В свою очередь Гриневич не оценила, когда я познакомил её с Балкановым. Он уже закончил филфак, работал архитектором в престижной фирме и, в общем, ему хватало на жизнь и брендовые пальто. Он стал ещё красивее – той особой мужской красотой, которой мне так не хватало; его плечи стали шире, глаза – печальнее.

– Мой друг Балканов, – представил я его, – архитектор и, кстати сказать, тоже анархист.

В жёлто-карих глазах Гриневич вспыхнул интерес.

– А как вы считаете, – спросила она сходу, – нам ведь нужна своя партия?

– Экчулли, я не понял вопроса, – ответил Балканов равнодушно. Мне всегда казалось, он нарочно напускает на себя такой делано-равнодушный вид, чтобы казаться ещё ин-

тереснее, что ли. Не сразу, очень не сразу я осознал – он не притворяется, он действительно равнодушен к людям, которым не может что-либо впарить, а по Гриневич сразу было видно, что ничего впарить ей не получится. – Фрэнкли, если мы стоим на том, что против власти, лезть в неё для нас – абсолютли пойнтлесс.

– Ну, знаете, – возмущённо сказала Гриневич, – систему вообще-то можно подорвать только изнутри.

– Ю суппоз, – Балканов удивлённо поднял бровь – ещё один его жест, не оставлявший равнодушной ни одну женщину, – ю суппоз, можно прогнуться под систему, хотя бы и с целью подорвать?

Дискуссия становилась всё оживлённее. Маленькая, тощая Гриневич то нависала над огромным Балкановым, то принималась нервно расхаживать из угла в угол, гнула своё. Он всё так же равнодушно, лениво улыбался, не намеренный уступать. Отчего-то у меня сложилось впечатление, что они понравились друг другу – возможно, лишь потому, что оба нравились мне.

– И что, – спросила меня Гриневич, когда он ушёл, – вот этот... он, значит, пытается строить из себя анархиста?

Я ничего не ответил.

– Стройматериалы не те, – отрезала она. Больше я не приглашал Балканова домой, предпочитая встречаться у него или в каком-нибудь баре, и старался его тему с ней не обсуждать. Но она сама постоянно спрашивала:

– А что думает этот твой факапер?

Балканов сначала не сказал о Гриневич ничего. Когда я задал ему вопрос в упор, ответил:

– Бро, я твою прайват-лайф осуждать не буду, но фрэнкли это финиш.

Но несмотря на то, что Балканова теперь было не пригласить в гости, несмотря на язвительность Гриневич, несмотря на компьютер, гудевший всю ночь, и батарею грязных кофейных кружек возле него, за которую мне бы непременно влетело от матери, а Гриневич это сходило с рук, несмотря на её отвратительную манеру вечно разбрасывать свои вещи и курить мои сигареты, несмотря на её в целом довольно специфический характер, было приятно возвращаться домой, где меня ждал кто-то, кроме никелевой матери – кто-то увлечённый, жизнерадостный и самое главное, искренне заинтересованный во мне.

Иногда игра на бирже не шла, и тогда мы всю ночь болтали.

– Слушай, – говорила она, – ну мы же всё-таки могли бы замутить свою партию?

– Анархическую партию? – сонно бормотал я.

– Ну а чего нет-то?

– Это ж какие деньги, – безнадёжно вздыхал я.

– Это ж какие деньги, – безнадёжно вздыхала она

С Гриневич бывало тяжело, но без неё было в тысячи раз тяжелее. Моя вольфрамовая мать смотрела мимо меня. Я

медленно и мучительно учился проходить мимо неё.

– Может, ты всё-таки восстановишься, – предлагала Гриневич, но я уже прошёл точку невозврата, и мне было плевать. Поступить в педвуз и учиться там оказалось ещё проще, чем я думал – не зря же говорят, ума нет, иди в пед. Не знаю, на кого была рассчитана программа, которая даже мне казалась примитивной. Я снова смог подрабатывать, теперь уже репетитором, и это, как ни странно, нравилось мне тоже. Когда очаровательный болван Глеб Черепицын, уверенный, что слово «трахея» происходит от слова «трахаться», каким-то чудом сдал ЕГЭ по русскому на немыслимые семьдесят три балла, я впервые в жизни ощутил, что, может быть, я не такое уж дерьмо, как всегда считала моя гранитная мать.

– Ты – это ты, бро, – сказал Балканов, когда я поделился с ним своими мыслями, – и симпли будь собой.

– Твою мать, терпеть чужих спиногрызов, – буркнула Гриневич, – вот ты мазохист отбитый.

Мазохист или нет, но я впервые был счастлив – у меня появилось время на увлечения, появились новые знакомства. Соотношение полов на нашем курсе было совсем другим – три парня на пятьдесят девушек, и я, никогда не считавший себя плейбоем, без проблем общался с этими девушками – может быть, потому, что у меня появилась ещё и уверенность в себе. С одной у нас сложилось даже нечто вроде серьёзных отношений. Её звали – зовут – Галя, но она настаивала, чтобы её называли исключительно Галиной Львовной, морщи-

лась, услышав нецензурное слово, и хлопала меня по спине, когда я сутулился. В общем и целом это была уже готовая классическая училка, но в постели, надо отдать ей должное, она оказалась несоизмеримо лучше, чем все её предшественницы. Я был почти счастлив.

И всё-таки главная встреча моей жизни была ещё впереди.

Был мокрый апрельский день, я зашёл в Пятёрочку купить сигарет, к которым меня приучил Балканов, потом без проблем бросил, придя к выводу, что это ему не особенно идёт, а я бросить так и не смог – и увидел её. Она стояла у кассы, непонимающе хлопая пугающе мохнатыми глазами, похожими на два одноклеточных многоногих существа из учебника биологии.

– Я же вам объясняю, девушка, – уже почти рычала усталая, немолодая кассирша, – скидка в семьдесят процентов действует только на кефир.

– Но я же и взяла-а кефир, – возмущалась девушка, непонимающе шевеля пугающе распухшими губами, похожими на цветок психотрии из того же учебника.

– На кефир я вам сделала скидку, – казалось, ещё немного, и продавщица лопнет пополам, – а на всё, что вы тут ещё набрали, она не действует.

– Почему-у не действует, если я взяла кефир? – девушка не издевалась, она искренне не видела проблемы. Я полез за кошельком, достал сумму, заработанную за шесть сегодняшних занятий с отстающими.

– Вот, – сказал я, – отсчитайте сколько нужно.

Кассирша проворчала что-то нечленораздельное и вернула мне какую-то неприличную мелочь. Девушка в упор смотрела на меня, и её многоногие глаза с каждой секундой пугали и притягивали всё страшнее.

– Даже не знаю, как вас благодарить, – сказала она. – Хотите, я всё это съем для вас?

– Как это – для меня? – удивился я, не сводя с неё взгляда.

– Я биджей, – объяснила девушка.

– Диджей? – глупо переспросил я.

– Нет же, биджей, как вы не понимаете?

Вид у меня, должно быть, сделался такой же растерянный, как у неё возле кассы, потому что она сочла нужным уточнить:

– Ну, мукбангер. Мара Мяу. Неужели не слышали?

– Подождите, мне нужно ответить на смс, – сказал я и незаметно для неё (это оказалось несложно), загуглил, не только не узнав ответа, но и придя в ещё большее недоумение. – То есть вы... едите на камеру за деньги?

– Ну да, – ответила Мара Мяу так невозмутимо, будто это было одной из самых распространённых профессий. – Но для вас могу в реале, идёт?

Я в упор не понимал, что интересного в том, чтобы смотреть на то, как другой человек ест, да ещё и за деньги. Но с другой стороны, деньги были уже заплачены, и вряд ли она когда-нибудь собиралась вернуть мне долг, а домой, где

гудела компьютером Гриневич и ходила по кухне недовольная чугунная мать, возвращаться не хотелось совершенно.

# Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.